

Хайдеггер: заговор против реальности

ДМИТРИЙ КРАЛЕЧКИН

Философ, переводчик, независимый исследователь (Москва).

E-mail: euroontology@mail.ru.

Ключевые слова: остранение; «Черные тетради»;

Люк Болтански; теории заговора.

Философская и текстуальная ситуация, сложившаяся в исследованиях Хайдеггера после запуска публикации его «Черных тетрадей», рассматривается в статье в контексте модернистского проекта Хайдеггера, предполагающего определенные стратегии изоляции и отстранения. Последние после 1920-х годов становятся все более невозможными. Исследуя различные варианты сокрытия, как аутентичного, так и искусственного, манипулятивного, Хайдеггер сам попадает в концептуальную позицию отстранения и исключения, которая не обязательно обещает традиционные когнитивные прибыли. Это, в свою очередь, приводит к созданию крайне узкого спектра возможностей для выхода из незавершенного проекта «Бытия и времени», который не удовлетворяет именно потому, что не уклоняется ни от натурализации, ни от антропологизации. На этапе так называемого поворота (*Kehre*) Хайдеггер не отказывается от первоначального проекта концептуализации бытия как инстанции остранения любой онтики; напротив, он пытается выполнить его как можно строже,

разрабатывая возможность нарративного построения истории бытия, которая ранее была лишена собственных персонажей.

Фигура «заговора», независимо от ее конкретной реализации, становится необходимой именно потому, что занимает промежуточное положение между «миром» и «реальностью» (в терминах Люка Болтански) или между онтикой и онтологией, составляя онтологическое различие как центр проекта Хайдеггера. Персонажи заговора заменяют абстрактных концептуальных персонажей Хайдеггера времен «Бытия и времени», что позволяет сохранить «агентность» и в то же время отказаться от любых антропологизаций и натурализаций. Использование Хайдеггером готового тезауруса «теорий заговора» создает в то же время ряд неожиданных следствий, среди которых уравнивание позиций заговорщиков (евреев, большевиков и т. д.) и цезаризма как процедуры редукции видимой политики. Заговор против реальности не может не оказаться производной самой этой реальности, соответственно, его герои разыгрывают спектакль самоуничтожения.

ЛОГИКУ сокрытия и маскировки/искажения, организуемую у Хайдеггера 1930–1940 годов оппозицией *Verbergen/Verstellen*¹, можно сопоставить с функцией различных технических средств, конвенций и инструментов, позволяющих демонстрировать скрытость того, к чему не следует приближаться (что как раз и является для Хайдеггера наиболее адекватным отношением к таким вещам, как «тайна» или «редкость»). В отрывке 102 из «Размышлений V» Хайдеггер рассуждает о «переходе», предвосхищая современные проблемы интернет-маркетинга:

Сегодня, когда успех выше истины, не нужно удивляться, когда первые позиции в знании и незнании тут же оцениваются таким образом. Но это означает, что в эпоху перехода «господствует» полное непонимание уникального, а потому только немногим становится доступным, что в ходе перехода совершается несравненная истина².

Поскольку сам Хайдеггер неоднократно предсказывал, что истина его произведений станет ясной лишь в далеком будущем, например через 300 лет, можно подумать, что он заранее жалуется на то, что на первые позиции в том или ином ранжировании источников знания (сейчас — сайтов и т. п.) попадает лишь то, что оценивается с позиции успеха, причем само место в ранжировании и равно успеху. Возможно, Хайдеггер уже опасался (как выясняется сейчас, скорее безосновательно), что не попадет «в первые строки поисковой выдачи». Действительно, в распределении редкого/тайны (аутентично скрытого) и противопоставленного им замаскированного/искаженного (неаутентично, искусственно и манипуляционно скрытого) выявляется не две, а четыре позиции, как только мы введем сам «переход» как элементарную логику доступа и маршрутизации. Редкому противопоставлено доступное и массовое за счет системы маршрутов (например, священные ме-

1. См., в частности: *Bernet R. Le secret selon Heidegger et “La lettre volée” de Poe // Archives de Philosophie. 2005. Vol. 68. № 3. P. 379–400.*

2. *Хайдеггер М. Размышления II–VI (Черные тетради 1931–1938) / Пер. с нем. А. Б. Григорьева. М.: Издательство Института Гайдара, 2016. С. 403–404.*

ста Греции становятся туристическими достопримечательностями); в то же время замаскированному и искусственно скрытому (элитарному, закрытому и т. п.) противопоставлена наиболее «бедная» позиция того, что оказывается редким лишь формально, что просто не может рассчитывать на интерес к себе со стороны логики доступности и маршрутизации: забытый сайт, непопулярный телеграм-канал, чудачества и фрик-теории того или иного рода. Разным искусственно закрытым *gated communities* противостоят не только аутентично-пасторальные формы пребывания в мире (с их собственной противоположностью в виде массового жилья), но и реальное захолустье, «дыры». Не оказываются ли «Черные тетради» именно в этом положении? Возможно, они (как провинция, которая не может претендовать на статус «закрытого», то есть элитарного сообщества) презентуют некоторую истину перехода, но переход к ним самим оказывается невозможным, поскольку, попросту говоря, у всех, кроме самого Хайдеггера, могло и не найтись повода на него сослаться? Разумеется, этот момент — применение «Дневников» (как жанра и как его конкретной реализации в «Черных тетрадях») в качестве механизма «накрутки» ссылок на Хайдеггера — лишь часть истории.

Позитивная логика и игра открытого/сокрытого, мастера которой обнаруживаются Хайдеггером в Древней Греции, предполагала, что сама сокрытость редкого или тайного так или иначе дает о себе знать, причем то, что ее проявляет, всегда самоустраняется в пользу того, что остается неявленным (подобную игру Хайдеггер проследил в феноменологии дара, редкости и секрета). Ситуация с сайтом, который в худшем случае известен только своему владельцу, принципиально иная и больше похожа на само письмо Хайдеггера: мы можем попасть в него или на него, это не запрещено и не возбраняется, но это тайна, заранее тривиализированная отсутствием опознаваемой траектории, которая бы подводила к ней, размечая ее вехами. Механизм самопорождения, накрутки аутореференциальных ссылок, свойственный любому модернистскому письму, в случае Хайдеггера приводит к тому, что он, все больше исключаясь из нормативного распределения философских проблем и направлений (ясно, что Хайдеггер — не феноменолог, не экзистенциалист и даже не онтолог), становится виртуалом и троллем самого себя, множеством дублирующих друг друга аккаунтов, которые монотонно ссылаются на свое собственное величие, но уже это обозначает четвертую — необходимую — позицию в распределении редкого/массового/закрытого (элитарного), то есть позицию пустоты, реальной дыры. Чтение «Черных тетра-

дей» создает прежде всего именно эффект пустоты: здесь в тексте буквально «никого нет дома», не к кому апеллировать. Иными словами, это и не спрятанное-замаскированное, и не тайное в аутентичном смысле слова, это то, что выпадает из оппозиции негативного сокрытия и позитивного, новоевропейской «машинационной» маскировки и событийной игры сокрытия/раскрытия. Хайдеггер говорит: «Если важно передать нечто великое в переходе, мы должны двигаться очень медленно и непрерывно»³. Действительно, нельзя исключать, что на каком-то неизвестном сайте вдруг найдется нечто «великое», однако это великое оказывается сокрыто не самим собой и даже не маскировкой/диссимуляцией, которая все еще подчинялась бы в какой-то мере ему, но самой «поисковой машиной» (то есть модерном/техникой/машинацией), которая осуществляет независимую от этой великой истины маршрутизацию переходов. Каждый отдельный переход осуществляется «не туда» просто потому, что само направление «туда» не может быть задано. Соответственно, Хайдеггер сталкивается с абстрактной проблемой: как именно может существовать такая изолированная истина в той ситуации, в которой любая коннективность и маршрутизация обеспечиваются за ее пределами и помимо нее? Как она (например, в форме того или иного произведения) может претендовать на что-то большее, нежели уникальность, которая уникальна исключительно номинально и в силу бедности? В конце концов, как такая истина может дистанцироваться от того или иного модуса обличения, выносящего приговор всей системе поиска в целом?

Позиция ненайденного/невыведенного сайта/канала, текста или произведения (которую в какой-то момент грозят занять и работы Хайдеггера, замыкающиеся в пространстве эзотерического учения⁴) выступает достаточно очевидным контрапунктом к уникальным произведениям модернистских авторов. В 1938 году, приступая к написанию «Вкладов», Хайдеггер в письме Элизабет Блохман⁵ говорит о том, что желает придать завершенную форму предварительным наброскам, для чего нужно будет подольше задержаться в своей лесной хижине. Сама фигура «хижины», конечно, достаточно легко соотносится с другими изолированными

3. Там же. С. 403.

4. О разделении самим Хайдеггером своих работ на эзотерические и экзотерические см., напр., в комментарии Франко Вольпи к итальянскому изданию *Beiträge zur Philosophie: Volpi F. Contributi alla filosofia. Dall'evento // La selvaggia chiarezza. Scritti su Heidegger*. Milano: Adelphi, 2011.

5. Цит. по: Ibid. P. 276.

пространствами модернистов, где создавались их «великие произведения»: хижина представляет собой определенный дискурсивный аппарат, одновременно материальный и идеальный, который находится в одном ряду с парижской квартирой Джойса или обитой пробкой комнатой Пруста, то есть с исключительными жилищами и одновременно рабочими пространствами, чья функция заключается в определенной конъюнкции открытия и закрытости, возможности созерцать и в то же время удаленности, недоступности. Видеть, оставаясь невидимым, но уже в частном, приватизированном варианте, в отличие от бентамовского Паноптикона. Следует подчеркнуть экстерриториальность хижины, которая работает в качестве именно контрмеры по отношению к официальному миру управленческих кабинетов: разумеется, хижина Хайдеггера — это его рабочий кабинет, однако ее конструкция принципиально отличается как от академических, то есть чисто формальных, кабинетов и аудиторий, так и от начальственных кабинетов официальной власти (впрочем, Хайдеггер не прочь совместить первое со вторым, надеясь, возможно, что такой симбиоз позволит воспроизвести хижину на более высоком уровне и освободит его от необходимости физически в ней запирается). Прямым эволюционным потомком хижины Хайдеггера становится, в частности, кабинет Джорджо Агамбена, как он представлен в его книге «Автопортрет в кабинете»⁶, тогда как одним из первых модернистских предков пространств подобного рода можно считать «печь» Декарта⁷, то есть деревенскую комнату, отапливаемую печью, которая работает, подобно хижине Хайдеггера, за счет экстерриториальности, совмещающей с возможностью собственно истины. Последняя требует определенного разлома, дистанции, перебивки, сдвига, выступая предельно материальным выражением базового модернистского приема остранения/очуждения (в том числе и у Декарта, любившего воображать людей роботами). Согласно легенде, свой метод Декарт изобретает, глядя на потрескавшуюся штукатурку потолка, то есть, отсиживаясь в холодной Германии, он буквально не знает, чем заняться, лежит на кровати и плюет в потолок, чьи потрескавшиеся линии, кракелюры штукатурки постепенно складываются в собственно картезианскую систему координат. Это своего рода *pattern recognition*, что-то вроде горячего бреда, промелькнувшего видения — событие модерна как

6. Agamben G. Autoritratto nello studio. Milano: Nottetempo, 2017.

7. Descartes // Les philosophes. Accélérateur de lecture. URL: <https://www.les-philosophes.fr/auteur-descartes.html>.

гештальт-обработка произвольного узора на обоях в нечто осмысленное и наглядное, то есть в более абстрактную, но умопостижимую картину, от которой потом уже не отделаться. Убедительность этой легенды (независимо от ее правдивости) обоснована тем, что в этом случае один из мифов о происхождении модерна уже выстроен по вполне модернистским канонам: интеллектуальная процедура требует изоляции, уединения, «редукции», но последняя выполняется в распаде, крушении, которое, с одной стороны, является видимой репрезентацией более глобального процесса (потрескавшийся потолок как репрезентация разлома и одновременно своего рода картезианской праздности, не-попадания в ранее существовавший порядок знания и социальных отношений), а с другой — непосредственной иллюстрацией, если не прообразом, будущей математической истины (плавное, безразрывное превращение трещин в линии системы координат). Трещины деревянной комнаты, отапливаемой доисторическим методом, печкой, оказываются гомеоморфны базовой математической структуре современности. Ветшание старого моментально превращается в новизну нового, без всякого перехода, за счет пластичности, обеспечиваемой праздным посредником — Декартом.

Die Hütte Хайдеггера могла бы отождествиться с «мастерской», но само применение термина «мастер» к Хайдеггеру двусмысленно, поскольку мастерство все еще удачно укладывалось в логику редкости и обычности — оно возможно только там, где обычное еще не стало слишком обычным и действительно серийным, где редкому ничего не угрожает, то есть это уникальность, осуществляющаяся безо всяких дополнительных средств, без кабинетов и т. п., особенность, не требующая изоляции. Тогда как сама конструкция кабинета в качестве рубки или точки наблюдения уже указывает на то, что мастерская Хайдеггера — не столько цеховое пространство производства, сколько лаборатория⁸ или обсерватория, из которой удобно обозревать окрестности, точно так же как из хижины Хайдеггера открывается удивительно четкий вид не только на Германию, но также на Америку, Россию, да и на всю мировую историю в целом. Двусмысленность предприятия Хайдеггера в том, что его формально модернист-

8. Бруно Латур возводит генеалогию лаборатории как особого «научного» пространства к двум составляющим — мастерской ремесленника и бюрократическому (или рабочему) кабинету. То есть лаборатория составляет как гибрид места для трансформаций материи и места для письма. См.: *Latour B. Cogitamus. Six lettres sur les humanités scientifiques*. P.: La Découverte, 2010.

ский жест — воспроизводящий в пределе «великое» произведение, которым, по мнению самого Хайдеггера, «Бытию и времени» стать все же не удалось и компенсировать неудачу которого должны «Вклады» и, видимо, «Черные тетради», как и другие «эзотерические» работы после «поворота», — и есть жест, обличающий в конечном счете истину модерна как истину махинации. Но такое противоречие нельзя считать нетипичным, скорее даже наоборот. Сами условия возможности выглянуть из хижины как рубки капитана уже говорят о модернистской, модернизирующейся прозрачности, связности, маршрутизации взгляда, которая одновременно помогает Хайдеггеру и обличается им в качестве конечного (катастрофического) следствия истории бытия.

Та же самая двусмысленность обнаруживается в попытке породить редкое — великое (*ein Großes*) — произведение (в следующем, 103-м отрывке из «Размышлений V» Хайдеггер тут же переходит к обсуждению произведения, *Werk*, Ницше, которое, будучи данным в «Воле к власти», оказывается произведением вопреки своей фрагментарности и, возможно, подложности⁹), встраивая

9. Работая в Архиве Ницше над новым изданием «Воли к власти», Хайдеггер, по всей видимости, столкнулся с филологическими проблемами, связанными с компоновкой посмертного текста Ницше в виде единого произведения. Однако филологические сомнения не мешают Хайдеггеру говорить о «Воле к власти» как *Hauptwerk*. Более того, можно предположить, что сама необходимость возвращаться к рукописям, заново расшифровывать их в попытке восстановить их в качестве произведения задает образец и для рукописей самого Хайдеггера, в том числе «Черных тетрадей», помещая «произведение» в логику фрагментации/собираания, — аналогами (естественно, не вполне точными) могут послужить «Книга» Стефана Малларме, «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, *Cantos* Эзры Паунда, то есть произведения, которые, даже будучи формально завершены при жизни авторов или самими авторами, оставались открытыми по своей структуре. Формальная завершенность всегда остается точкой, где возникает вопрос о дифференциации заброшенности или усталости и собственно завершения (наполнения смыслом, развязки и т. д.). Экономия модернистского произведения предполагает прежде всего, что исключительное усилие, необходимое для производства уникального труда, должно быть выполнено на уровне самого текста, который, соответственно, никогда не должен складываться в удобную потребительскую форму, оставаясь работой и для читателей, и для издателей. Несобранность и фрагментарность позволяют вернуться к «самим вещам», то есть самому процессу порождения произведения, и они же задают направление сборки, которая не завершается именно потому, что такая незавершенность позволяет поддерживать взвешенное состояние «самых вещей», как они существуют в исключительном акте до его седи-ментации и потребления.

его в цепочку более и менее эзотерических собратьев: университетских лекций, выступлений, заметок к семинарским занятиям, предварительных работ, размышлений и эссе, курса о Гёльдерлине и собственно «произведения» «О событии» («Вклады в философию»)¹⁰. В этом ряду характерным моментом является именно то, что письменный текст, создающийся втайне от публики (Хайдеггер подчеркивает противоположность лекционных курсов, посвященных исключительно «экзегезе», и секретного труда, производимого в одиночестве), оказывается наиболее эзотерическим; этим, по сути, переворачивается древнегреческая модель, актуализированная в современной концепции об эзотерическом учении Платона, которое сохранилось внутри Академии в форме устной традиции. Уже в первом приближении понятно, что письменный текст, служивший древнегреческим философам всего лишь предварительным материалом, методичкой или даже рекламной листовкой, у Хайдеггера систематически занимает центр эзотерического учения — да и как, казалось бы, могло быть иначе? Сама позиция «труда», примером которого выступает та же «Воля к власти», является для Хайдеггера самоочевидной, что не вполне согласуется с привилегией древнегреческой философии в его собственных текстах. Траектория публикации собрания сочинений Хайдеггера не расходится поэтому с современными стратегиями публикаций семинаров других известных авторов: семинар (Лакана, Фуко, Деррида и т. д.) находит свое завершение исключительно в печатной, публичной форме, которая и превращает его в произведение, в случае Лакана — важнейшее. В самой оппозиции секретности/письменности/произведения и публичности/устности/экзегезы первый полюс всегда перевешивает другой, задавая направление движения.

Позитивная модернистская редкость произведения, такого как «Воля к власти», «Черные тетради» или «Вклады в философию», сталкивается, однако, с затруднением в той ситуации, когда она все больше выносится за пределы этой логики прозрачности, открытости и глобальной маршрутизации путей, эволюций, цитат и историй (от Древней Греции до атомной бомбы, от Платона до Ницше и т. д.), оказываясь чем-то отделенным, уникальным, но лишь номинально; редким, но лишь по бедности. Знаменитые «кризисы» Хайдеггера, которые биографами связываются прежде всего с его работой над Ницше (вместе с проблемой европейского нигилизма) и с периодом сразу после Второй миро-

10. Volpi F. Op. cit. P. 277.

вой войны, можно реконструировать логически, как кризисы собственно модернистского произведения, создаваемого в изоляции, обособленно, но именно поэтому получающего неоспоримую возможность прослеживания глобальных сюжетов, схватывания общемировых истин и т. д. Дело не только в том, что в хижине должно быть открытое окно во внешний мир, но и в том, что этот мир должен узнавать себя в отражении в этом оконном стекле хижины (если только там действительно стекло, а не бычий пузырь). Подобная корреляция, никогда, конечно, не данная заранее, определяется тем, что уникальность и обособленность, хайдеггеровский *Entzug* — не случайные качества интеллектуального производства (которые можно было бы заменить нивелированной и обобщенной научной работой), но, напротив, его необходимые условия, члены уравнения универсального и конкретного. Взрывное развитие научного знания как более или менее анонимного научного предприятия с начала Просвещения замыкается на не менее убедительную историю уникальных открытий, деяний отщепенцев и чудачков, постепенно составляющих модернистский эпистемологический канон, таких как Карл Маркс, Александр фон Гумбольдт, Огюст Конт, Чарлз Дарвин, Зигмунд Фрейд и т. д. Модернистский герой существует в зазоре, обособлении, он застревает на каком-то полустанке и неожиданно попадает на другой именно потому, что пока еще находится в мире несовершенной коммуникации, в которой сами разрывы в связях и логистике создают для него удобные пространства обособления, задержек, площадки обозрения и фиксации наблюдений. Все это к моменту «поворота» Хайдеггера морально устаревает, оставаясь возможным разве что на уровне текстуальной имитации.

Пример Александра фон Гумбольдта, фигуры во многом еще просвещенческой, показателен для этого триумфального периода, оставшегося в прошлом: если судить по его биографии¹¹, то, послужив впоследствии образцом для таких литературных героев, как Паганель Жюль Верна, он оказывается автором проекта, едва ли не противоположного проекту его брата Вильгельма, то есть так называемого гумбольдтовского университета — знания, универсализированного в рамках государственной бюрократии. Паганель и Александр фон Гумбольдт — частные герои мира с пока еще ненадежными коммуникациями. Для того чтобы заниматься наукой, надо участвовать в деловых или политических проек-

11. Wulf A. The Invention of Nature: Alexander von Humboldt's New World. N.Y.: Knopf, 2015.

тах, но так, чтобы в них постоянно возникали небольшие коммуникативные разрывы и сбои, оставляющие возможности для исследований. Не все должно быть гладко, шершавость — залог этой триумфальности. Просвещенец и популяризатор Паганель попадает в компанию шотландских сепаратистов, но, поскольку сообщение от Гранта безнадежно стерто, его расшифровка постепенно складывается в кругосветное путешествие: дописывание письма эквивалентно перемещению судна по определенной траектории. Александр фон Гумбольдт точно так же пытается догнать французскую экспедицию, для чего должен совершить путешествие в Лиму, но идет по ложному маршруту, получив неправильную депешу. Несовпадение с пунктом назначения оставляет, однако, возможность глобальных исследований всего на свете: это наука в пределах засбоившей логистики и ненадежной коммуникации. Поскольку разрывы в коммуникации, незаполненные пробелы могут возникать где угодно, изучать можно тоже что угодно — синеву неба, растения, языки, электрических угрей и даже собственных вшей¹², чем, собственно, Гумбольдт и занимается. Универсал и франкофил, он читает лекции о чем угодно и одновременно ни о чем. В каком-то смысле он занимает позицию, соответствующую в наши дни разве что позиции Стивена Хокинга, возможно последнего модернистского научного героя (главное произведение Гумбольдта — «Космос»). Но интересно, что Хокинг может занимать ее, то есть мыслить космос в целом за человечество как таковое и думать об угрозе инопланетян, только потому, что находится в положении киборга, обездвиженного в своем собственном теле и кресле, тогда как условие деятельности Гумбольдта — максимальная подвижность. Кресло Хокинга — еще один потомок модернистского кабинета, одновременно капитанской рубки и обсерватории. Тогда как Гумбольдт вставляет себе электрические провода в спину, пьет сырую воду из Ориноко и Амазонки, хватая угрей голыми руками — все для того, чтобы постулировать единство природы. То есть он выступает универсальным посредником самой этой «единой природы», идея которой будет подхвачена Генри Торо, потом Джеймсом Лавлоком, а в последнее время одновременно демонтирована и реабилитирована.

12. Знаменитые «латуровские литании» (термин Яна Богоста, означающий перечисления вещей и сущностей, призванные продемонстрировать их разнородность и богатство) пытаются восстановить сам этот просвещенческий режим множественности, возможный только в условиях ненадежной логистики.

на Бруно Латуром¹³. Гумбольдт слишком «разбросан» (его постоянно обходят другие — то Алессандро Вольта, то Чарлз Дарвин), но в этом его сила.

В этом неочевидном ряду, в котором бок о бок оказываются Гумбольдт, Паганель и Хайдеггер, необходимо провести некоторые различия. Гумбольдт становится одним из первых глобальных ученых именно потому, что связывает собой, своими путешествиями, телом и работами те узлы сети, которые пока еще не со стыковались друг с другом. Он — проводник, который замыкает собой все эти разрозненные маршруты и контуры. Это логика счастливых несовпадений, которая напоминает хайдеггеровские описания досократовского мира: постоянно ускользающая природа преподносит удивительные сюрпризы, диковины, и именно ее отступление, уклонение говорит о некоей тайне, которую стоит хранить. Просвещенческий пыл Гумбольдта, возможно, намного ближе к досократовским героям, чем экзегеза самого Хайдеггера: он говорит о единой природе, непосредственно проявляющейся в его экспериментах и приключениях, хотя, конечно, никаких собственно научных оснований и доказательств такого единства у него нет, более того, оно все больше становится либо невыносимым, либо просто ненужным. Различие между Гумбольдтом, натурфилософом в поисках единства природы, и более поздними модернистскими героями прежде всего в методе: если первый постоянно сталкивается с отступанием природы и ненадежностью связей, а потому изолирован от этой природы вполне «естественно», рассинхронизирован с нею, то вторые вынуждены в какой-то мере такую изоляцию разыгрывать, строить. Известное суждение Фредрика Джеймисона о том, что модернизм как культурное явление и стиль конститутивно определяется неравномерностью модернизации (когда наряду с индустриальным производством сохраняются анклавы старого порядка, которые как раз и становились предметом рефлексии модернистских авторов, пытающихся представить сдвиг модернизации в качестве производной архаического индивидуального условия, тем самым присвоив и перекодировав сам этот сдвиг модерна), здесь нуждается в некотором уточнении: такая неравномерность является, возможно, основой для модернистских авторов в широком смысле слова, включающих и Александра фон Гумбольдта, однако в собственно модернизме она все больше становится искусственным

13. *Latour B. Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique.* P.: La Découverte, 2015.

приемом, рефлексивным дополнением к собственно модернизации. Если Гумбольдт существует в режиме *verbergen*, в котором природа дается именно тем, что скрывается, то Хайдеггер не может заниматься «бытием» с той же непосредственностью поиска единства природы — ему требуется определенная искусственность, аскеза, аппарат отстранения и размыкания. Однако это не мешает странной параллели. Один, словно бы до разделения науки на отдельные регионы, занимается всем подряд, в своего рода панонтическом энтузиазме строит единую онтическую науку, которая должна говорить о единой природе. Другой первоначально развивает проект единой трансцендентально-фундаментальной онтологии, которая бы расчерчивала пространство онтологий региональных, но в итоге начинает видеть именно в «природе», понимаемой в древнегреческом смысле, возможность выйти из тупика фундаментальной онтологии. Конечно, проект Хайдеггера на всех его этапах был построен на целой системе оговорок и предостережений, во многом унаследованных из феноменологии, то есть на определенной логике теоретических предосторожностей, которые позволяли дистанцироваться от вроде бы похожих, но более «вульгарных» проектов, которые, однако, продолжают его преследовать, выступая исходными материалами и моделями. На первых этапах это «философия жизни», затем — антропология Макса Шелера, а после «поворота», возможно, именно натурфилософия: «единая природа» Гумбольдта и «бытие» Хайдеггера представимы как одно и то же, различаясь исключительно онтологическим отличием, смысл которого зависит, однако, от того, от какой из сторон его отсчитывать. Различие собственно модернизма проходит, соответственно, именно между онтической всеядностью и онтологическим замыканием или обособлением: «бытие» уже нельзя называть природой, хотя это «то же самое», то же самое синтетическое единство, реализуемое, в частности, в четверице Хайдеггера. Возникает вполне опознаваемая гомология между «бытием» и «кабинетом», и, по сути, Хайдеггер после поворота делает все, чтобы от этой гомологии отказаться, но так и не может справиться со всеми затруднениями.

Декарт, при минимальном участии и скорее даже в праздности преобразующий трещины на старом потолке в систему координат, Гумбольдт, обнаруживающий единую природу в электричестве, проходящем по его телу, в электрических углях и молниях, — все это герои-проводники, рассинхронизация которых по отношению к окружающему миру получает позитивную функцию именно потому, что они каждый раз заполняют собой пусто-

ты и пробелы, обнаруживая сам горизонт единства, натурфилософский или математический. Это все еще мир редкостей, тайн и диковин. Натурфилософия не предполагает собственно *погружения* или уже данного единства, субстанциальности; скорее, она порождается именно из таких неожиданных встреч, которые указывают на пространство рассогласования, сдвига, так что, конечно, древние греки тоже не чужды модернизации (о чем говорили и Хайдеггер, и Адорно). «Проводимость» модернистских героев никогда не бывает абсолютно полной, они не становятся сверхпроводниками и не растворяются в окружающей их сети взаимодействий. Не являются они, вопреки позиции Хайдеггера, и агентами тотальной калькуляции и «махиации»; напротив, героические свершения и приключения возможны только там, где нельзя все просчитать: постоянное отступление данного как раз и требует присутствия такого проводника, который мог бы позитивно относиться к «сокрытости», одновременно участвуя в ней и не претендуя на ее разоблачение. Такое позитивное отношение реализуется как в уединении Декарта, так и в бешеной активности Гумбольдта, которые в равной мере демонстрируют, что недостаточно от чего-то отстраниться и отвязаться, если твой контрагент (природа, сущее, социальный мир и т. д.) не *пойдет тебе навстречу*, не о(т)странившись точно так же. Гумбольдту и Декарту мир шел навстречу, отстраняясь от них, то есть показывая себя с неожиданной стороны, причем сама неожиданность свидетельствовала о его тайне, ведь раньше этой стороны заметно не было. А собственно модернистам пришлось в большей мере полагаться на себя, создавая искусственные сцены остранения и сокрытости — кабинеты, хижины, тексты и т. п. На них автор выступает основным агентом остранения, уже не надеющимся на то, что окружающий мир ему подыграет, станет залогом его эпистемологического приключения. Это, в свою очередь, сдвигает соответствующую текстуальную стратегию к позиции заговора.

Обычное для Хайдеггера обесценивание «маскировки» и *verstellen*, сокрытия того, что уже было открыто или может быть открыто, подталкивает к такому же обесцениванию «заговора», который как термин встречается, в частности, в семинаре о Пармениде. Действительно, заговор всегда представляется чем-то производным, искусственной попыткой создать тайну там, где ее могло и не быть. То есть заговор — лишь один из примеров махиаций и манипуляций. Однако эта оценка не окончательна. Не оказывается ли Хайдеггер именно в позиции своего письма, вынесенного в секретное пространство дневников и тракта-

тов, все больше заговорщиком, который, правда, готовит заговор другого, онтологического толка? Более того, не является ли сама история бытия не чем иным, как историей заговора, что косвенно подтверждается производной фигурой еврейского заговора, написанного именно как момент истории бытия?

В исследовании Люка Болтански «Тайны и заговоры. Расследование о расследованиях»¹⁴ для объяснения распространенности теорий заговора к началу XX века и появления детективных и шпионских жанров вводится конструкция, имеющая очевидно онтологический характер. С одной стороны, есть мир, а с другой — реальность. Реальность — то, что конструируется все более жесткими политиками национального государства, например, в области экономики (планирование, национальные банки и т. д.) и массмедиа. Следуя отчасти за Фуко, Болтански представляет свою теорию модернизации как именно незавершенного, неполного процесса: модернизация и модернизм возможны там, где реальность еще не вполне совпадает с миром, поскольку последний — это просто то, что не укладывается полностью в официальные репрезентации. Например, финансовый крах 2008 года стал событием «мира», а не реальности (не «реальным» событием), поскольку его причины не получили отображения в официальных репрезентациях и были восстановлены лишь постфактум. В социальном *мире* даже сейчас может случиться нечто такое, что не сводится к реальности, что ставит под вопрос ее саму, вызывает к ней недоверие. Мир — это не столько то, что «за» реальностью, сколько прореха в реальности (лакановские обертоты такого определения очевидны, но для Болтански и данного обсуждения не столь важны). Мир состоит из всех тех причин, которые не могут считаться причинами, поскольку одна из задач официальных репрезентаций — определять, что может быть причиной для такого-то следствия, а что нет (например, невозможно вылечить, используя неофициальные лекарства, услуги знахарей и т. п.), то есть мир оказывается одновременно избытком по отношению к реальности и ее собственным недостатком, который, однако, невозможно присвоить. Распространение теорий заговора, детективных жанров и одновременно рождение социологии — все это следствия попыток сконструировать реальность, которые не могут быть вполне успешными. Соответственно, представление о самой возможности заговора конструируется

14. Boltanski L. Enigmes et complots. Une enquête à propos d'enquêtes. P.: Gallimard, 2012.

как искаженная проекция самих усилий по конструированию реальности (то есть в этом смысле теории заговора всегда «критичны» по отношению к легальной реальности) и одновременно как обесценивание самой официальности реальности: ведь если есть один проект по такому конструированию, то может быть и другой. Эпистемологическое место самого концепта «заговора» оказывается очень близким локусу собственно социологии, которая такими авторами, как Карл Поппер, принципиально отрицающими какую-либо коллективную агентность, отвергается в качестве всего лишь варианта заговора (вместе, к примеру, с марксизмом и т. п.).

Различие мира и реальности (или реального и реальности) интересно тем, что оно не выходит за пределы общего модернистского словаря, исчерпывающего возможности самоописания модернизма (и в этом смысле постмодернизм представим просто в качестве акцентирования такой ограниченности и замкнутости, самого перформативного эффекта самоописания словаря в его собственных терминах). Так, Ален Бадью указывает на то, что весь XX век проходит под знаком «страсти реального»¹⁵, навязчивого поиска реального как такового. Оппозиция мира и реальности уже говорит о том, в каком направлении должен идти поиск: реальность дана, тогда как мир является тем, что не может быть данным, хотя постфактум даны его производные (войны, кризисы и т. п.). Речь о том, что распределение причин и агентов в этом зазоре между миром и реальностью всегда осуществляется постфактум, и именно в нем и появляется понятие заговора, позволяющего описывать в качестве агентности то, что, возможно, вообще ее не предполагает и даже не имеет причин. То есть это определенная рационализация такого разрыва, но в то же время и его проекция в сферу собственно легальной рациональности. Заговор позволяет сохранить агентность, а потому выполняет терапевтическую, успокоительную функцию, поскольку в конечном счете гораздо лучше, если за необъяснимыми явлениями скрывается чья-то злая воля, чем если бы за ними не скрывалось ничего.

Важно то, что заговор всегда «меньше» больших социальных сил или классов, так что он радикально расходится с любой логикой класса и авангарда — его могут составлять представители разных классов, оставляя последние без изменений. Союз (или даже заговор) Хайдеггера с теорией заговора носит одновременно концептуальный и нарративный характер. С одной стороны, его неприязнь к калькуляции и расчету строго вписывается в общую

15. Badiou A. *Le Siècle*. P.: Seuil, 2004. P. 54.

модернистскую конструкцию реальности и мира, в которой подозрение вызывает все, что лишь числится существующим. Недостаточно числиться существующим, нужно еще существовать — этот тезис можно было бы отнести уже к «Бытию и времени». Этого общего неприятия того, что лишь числится, еще недостаточно для более содержательного сближения с заговором, в том числе в «Черных тетрадах», но последнее можно объяснить тем, что, отказавшись от «антропологической» перспективы фундаментальной онтологии, Хайдеггер все же не был готов расстаться с горизонтом агентности как таковым и перейти к более или менее натурфилософскому описанию бытия, совершенно не зависящего от *Dasein*. Разумеется, подвешивание антропологических или индивидуальных атрибуций *Dasein*'а было одним из главных остраивающих актов в экзистенциальной аналитике Хайдеггера (описать человека так, словно бы это не человек, то есть не одно из сущих, выделенное в качестве отдельного рода, в данном случае человеческого), однако такого подвешивания оказалось все же недостаточно — так или иначе, читателям удобно считать, что речь идет о «человеческой реальности». Соответственно, Хайдеггеру необходимо было перейти к не-трансцендентальному описанию бытия, например ввести *Dasein* как фигуру бытия народа, что указывает на очевидное решение: оставить агентность, но убрать ее привязку к «реальности» или к «сущему» и в то же время не возвращаться к агентности самого бытия (той или иной идеалистической инстанции). Стратегия после «поворота» — это стратегия подвешенного решения, третьего пути: «да» агентности (или решению), но «нет» любым «онтическим» агентностям и любым метафизическим агентностям. Таким образом, двигаясь в направлении одновременно деметафоризации (*Dasein* — не метафора человека), деантропологизации (*Dasein* — не индивидуальный человек) и денатурализации (бытие как *Sein* — не то, что «есть»), Хайдеггер заходит в крайне узкий коридор решений, в котором он как раз и встречает заговоры, то есть такие инстанции актов и решений, которые принципиально не поддаются учету. Они есть, но не числятся, соответственно, именно поэтому официальное академическое знание не располагает никакими сведениями о них, а потому можно использовать и откровенные подделки вроде «Протоколов сионских мудрецов».

Этап фундаментальной онтологии как трансцендентального проекта выявил невозможность окончательного разнесения инстанций бытия и сущего, которые неизбежно слипаются в процессах метафоризации и аналогизации, а потому описание *Dasein* ста-

новится не столько первым, сколько последним словом в описании бытия. Это, в свою очередь, ставит под вопрос главную ставку, а именно собственно бытие как инстанцию остранения сущего. Трансцендентальное различие, если спроецировать его на эту задачу, выписанную в модернистских терминах («назад к вещам, но против овеществления»), оказывается провалом в обеих своих сторонах, в обоих терминах, что и оказывается для Хайдеггера стимулом для поиска «пост-поворотных» решений. С одной стороны, оно не допускает остранения (то есть собственно локализации бытия) в силу антропологизации, а с другой — за счет натурализации, нормативизации и идеализации. Антропологические структуры дублируются просто структурами¹⁶, например идеальными, нормативными и трансцендентальными (вечными), но и те и другие — враги Хайдеггера. Для борьбы с этими врагами необходимо вступить в заговор.

Одновременно этот сдвиг позволяет решить нарративную проблему: какие именно «деятели» будут фигурировать в онтологическом описании после того, как абстрактное пространство экзистенциальной аналитики осталось в прошлом? Любые «большие» конструкции (классы, биологические расы и т. п.) представляются Хайдеггеру такими же натурализациями (и следствиями забвения бытия), как и индивидуалистические описания. История бытия, разумеется, не может быть структурирована в качестве глобального процесса смены периодов, эпох, трансформаций и т. п., поскольку каждой такой трансформации (например, переходу к новому современному определению бытия как субъекта и воли к власти) должен соответствовать определенный деятель, то есть нечто большее индивидуального/антропологического *Dasein* и в то же время меньшее стихий или составляющих «четверицы». Хайдеггер неявно решает нарративную проблему следующего типа: когда именно повествование об агентах становится повествованием о силах и стихиях? Когда мы перестаем говорить о героях и начинаем говорить о мифических силах (земля, небо и т. д.)? Продлить остраняющий жест фундаментальной онтологии можно только в том случае, если не скатываться ни в ту, ни в другую сторону — ни в антропологию, ни в натурфилософию или мифологию, но для выполнения этого требования Хайдеггеру приходится привлекать нарративных персонажей, которые не изобретаются

16. Об использовании концепта структуры у Хайдеггера см.: Malabou C. Une différence d'écart. Heidegger et Lévi-Strauss // Revue philosophique de la France et de l'étranger. 2002. Т. 127. № 4. Р. 403–416.

им, а берутся из готового тезауруса и просто подгоняются под историю бытия: они — те, кто может такую историю рассказать и на ком она может быть рассказана.

Американцы, русские, большевики, национал-социалисты, греки — все это фигуры мидийных, официальных концептуализаций и номинаций, которые, однако, легко смещаются к точке заговора. Действительно, такие фигуры характеризуются именно своей нечеткой сборкой, тем, что они опоры официальных репрезентаций, но в то же время легко ускользают от них. Вообще говоря, любое национальное единство, нация — это, конечно, главный элемент реальности (в смысле Болтански), но конструируется она в качестве именно предпосланного этой реальности, а потому уже вынесенного в пространство «мира», что позволяет полагать такие фигуры в качестве условий заговора.

Соответственно, Хайдеггер получает возможность оперировать ранее вроде бы философски запрещенными сущностями, такими как «коммунисты» или «евреи», но именно потому, что *только они* могут быть у него агентами, которые не растворяются в идеалистической истории бытия и в то же время не сводятся к легальным и исчислимым сущностям. Греки, коммунисты и евреи *больше Dasein'a*, поскольку позволяют освободиться от его «антропологии», но *меньше* абстрактных мифологических стихий, классов и прочих массивных конструкторов, в которых Хайдеггер неизменно видит следствие исчисляющего подхода. Конечно, Хайдеггер не пишет о «собственно» евреях или коммунистах, но в том-то все и дело, что их и не бывает в «собственном» смысле, они всегда, в любой официальной интерпретации (в том числе в расовых законах), оказываются смещенными, уклоняющимися от официального реестра; более того, такое уклонение как раз и определяет их режим агентности (еврей — тот, кто избегает официального определения еврея и пытается уклониться от легально принятого расового закона, пытается быть «не-евреем», что особенно подозрительно). В определенной мере это лишь структурное следствие самой «реальности»: именно базовые персонажи, полагаемые реальностью в качестве надежных, наверняка присутствующих, оказываются теми, кого невозможно полностью исчислить, хотя реальность и проводит такой подсчет с параноидальным упорством (паранойя — еще один феномен в разрыве между миром и реальностью). Евреи и коммунисты никогда не бывают собственно «эмпирическими» евреями или коммунистами (или «только», «всего лишь» евреями и коммунистами — так, у Хайдеггера адептами калькуляции могут быть как древние греки, так

и национал-социалисты) именно потому, что любая реальность требует того, что официально ею не конструируется. То есть это не более чем живые парадоксы конструирования, следствиями которых оказываются практики исключения, уничтожения и охоты на ведьм, попытки зафиксировать парадокс. В официальной реальности уже есть те, кто способен ей активно сопротивляться, уклоняться от нее, причем зачастую именно потому, что они ей декларативно предпосланы, и это уже ставит их в положение номинальных агентов заговора (впрочем, структурно заговор, в котором участвуют евреи, — совершенно не обязательно еврейский заговор, и вся проблема — и воображаемая опасность — в том, что никто, кроме, возможно, Хайдеггера, не знает, в чем именно суть еврейского заговора, что он представляет собой содержательно). В определенном смысле этот парадокс не слишком отличается от предпосланности героя литературного произведения: мы можем рассуждать о том, как сложилась бы судьба Раскольникова, если бы он не убил старуху или, напротив, сумел бы воспользоваться ее деньгами, хотя понятно, что «его» содержание исчерпывается текстом романа, что никакого «другого» Раскольникова нет, и в то же время без таких воображаемых возможностей, сослагательных допущений само повествование оставалось бы неполным, неглубоким и неэффективным. То же самое относится и к социальной реальности: агентность основных персонажей (которые могут быть вульгарными, то есть фигурами массмедиа, пропаганды и т. п.) всегда требует такого воображаемого простора уклонения от этой реальности, хотя в другом модусе чтения мы осознаем, что это уклонение невозможно.

«Поворот» Хайдеггера в этом смысле следует понимать как смену персонажей, которые становятся все менее философскими и все более нарративными, но эта смена соответствует исходному мотиву «Бытия и времени», акцентирующему само положение персонажа, который задается вопросом о бытии так, что само это «вопрошание» тотчас составляет часть ответа. Попытка дописать и переписать «Бытие и время» заставила превратить чисто философского персонажа в героя или, вернее, героев, которых, однако, можно было найти лишь в весьма узком спектре модернистских вариантов. Если *Dasein*, как и позиция самого Хайдеггера периода экзистенциальной аналитики, гомологична модернистской изоляции, позиции уникального произведения, конечности как способа задания этой уникальности, то нарративные персонажи, появившиеся в 1930-е годы, оказываются следствием провала предыдущей стратегии (Хайдеггер, конечно, ощущает этот провал,

но трактует его исключительно в имманентных своим концептам терминах). Все более невозможной становится сама шершавость социального и когнитивного пространства, где отводилось место для таких героев, как Декарт или Гумбольдт, воссоздававшегося Прустом или Джойсом. Фигуры «заговора» указывают на истощение этой модернистской иллюзии остранения, как эпистемологического, так и социального, поскольку они суть всего лишь фиксации неполноты реальности как таковой, сгустки агентности, которые не могут быть до конца исчислены, но при этом уже не могут претендовать на истину самого процесса исчисления (как бы этого ни хотелось). Заговор — это остранение, которое может оказаться пустым и непродуктивным именно потому, что он указывает на то, что само направление, по которому движется остра-няющий взгляд, уже искажено исчисляющей, легальной картиной, пусть даже только негативно.

Академическая небрежность Хайдеггера и его невнимание к доказанной фальшивости «Протоколов сионских мудрецов» объясняются тем, что он решает не научные, а нарративные проблемы, причем в условиях меняющегося эпистемологического ландшафта, где остается все меньше возможностей. Однако нельзя пользоваться теми или иными, пусть даже второстепенными, источниками, не импортируя их скрытые условия и концепты в собственную игру. Соответственно, «Протоколы», являясь, судя по всему, переделкой «Разговора в аду между Макиавелли и Монтескье» Мориса Жоли¹⁷, в определенной мере смыкаются с задачами самого Хайдеггера, создавая довольно странный гибрид, в котором еврейский заговор построен по модели современного цезаризма, отсылающего к правлению Наполеона III (который, собственно, и был предметом сложной критики в интертекстуальном произведении Жоли). Луи Наполеон стал первым «гибридным» правителем — императором, избранным народным голосованием. Но важнее то, что его власть сама предполагает определенную нейтрализацию «легального» пространства, в том числе парламента (или «реальности»): Макиавелли у Жоли говорит о том, что правитель должен управлять обеими сторонами любого оппозиционного процесса (партиями, кланами и т. д.), так что видимая активность будет на самом деле нейтрализована, хотя внешне либеральные и конституционные свободы останут-

17. Подробный разбор и историю вопроса см. в статье Карло Гинзбурга: *Ginzburg C. Rappresentare il nemico. Sulla preistoria francese dei Protocolli // Il filo et le tracce. Milano: Feltrinelli, 2015.*

ся нетронутыми. Эта фигура закулисного управления, или собственно «гибридизации», интересна тем, насколько точно она совпадает с комплексом ускользающих различий, с которыми работал Хайдеггер, получивших формальное выражение в различии бытия и сущего. Действительно, при цезаризме политическая борьба остается без изменений, однако ее смысл радикально меняется за счет того, что она берется в скобки, редуцируется — как сущее в целом, — но такие скобки не становятся рамкой просто потому, что их невозможно обнаружить (все, что мы видим публично, — это все та же либеральная политика или все то же «сущее»). Цезаристская редукция оставляет все как есть, пытается найти то, что остается после такого заключения в скобки, то есть остаток любого легального конструирования «реальности». Разумеется, заблуждение и Жоли, и его воображаемого Макиавелли (как фикционального рупора для Наполеона III) в том, что зазор между миром и реальностью можно якобы использовать продуктивно и манипулятивно, то есть в том, что это промежуточное пространство само является не более чем следствием расширения манипуляции. Хайдеггер стремится уйти от этой иллюзии, деконструировать ее в истории бытия, где в конечном счете герои — не те, кто что-то решает, а те, кто неумолимо движется к своей гибели, продолжая верить, что именно от них-то все и зависит. Различие между «цезарем», оставляющим все как есть и управляющим за счет манипуляций, и «вождем» как предметом теоретических и политических инвестиций Хайдеггера можно было бы выписать в том смысле, что «вождь» пытается избавиться от гибридности цезаристского правления, вернуться к нефиктивному пространству решений, но в конечном счете и он оказывается у Хайдеггера под вопросом. Любая фигура заговора лишь усиливает «манипуляцию» и *Machenschaft*, выступает ее интенсивным вариантом, который, однако, не позволяет отстраниться от вялотекущей, легальной и рутинной манипуляции модерна как такового. «Заговор против реальности», как неоднократно показывает Хайдеггер, оказывается производной самой этой реальности — например, противоборствующие стороны, вступившие в войну, разыгрывают спектакль взаимного уничтожения, в котором должна быть уничтожена сама реальность, но лишь обманывают себя в том, что борются с этой реальностью. Парадокс в том, что, если герои борются с реальностью лишь в режиме самой этой реальности и по ее правилам, им ничего не остается, кроме как уничтожить друг друга, оставив пустую сцену, на которую, возможно, выйдут боги. Это, конечно, и есть риториче-

ский итог «бортового журнала кораблекрушения»¹⁸, как охарактеризовал Франко Вольпи философию Хайдеггера в период написания «Вкладов в философию», но понимать его следует прежде всего формально, как результат нескольких одновременно эпистемологических и нарративных задач, которые принципиально не поддавались решению. Возможно, это и в самом деле кораблекрушение, но, как и от «Капитана» Малларме, у нас осталась хотя бы его шапочка с плюмажем, плавающая среди обломков.

Библиография

- Agamben G. Autoritratto nello studio. Milano: Nottetempo, 2017.
- Badiou A. Le Siècle. P.: Seuil, 2004.
- Bernet R. Le secret selon Heidegger et “La lettre volée” de Poe // Archives de Philosophie. 2005. Vol. 68. № 3. P. 379–400.
- Boltanski L. Enigmes et complots. Une enquête à propos d'enquêtes. P.: Gallimard, 2012.
- Descartes // Les philosophes. Accélérateur de lecture. URL: <http://les-philosophes.fr/auteur-descartes.html>.
- Ginzburg C. Rappresentare il nemico. Sulla preistoria francese dei Protocolli // Idem. Il filo et le tracce. Milano: Feltrinelli, 2015. P. 185–204.
- Jameson F. Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism. L.: Verso, 1991.
- Latour B. Cogitamus. Six lettres sur les humanités scientifiques. P.: La Découverte, 2010.
- Latour B. Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique. P.: La Découverte, 2015.
- Malabou C. Une différence d'écart. Heidegger et Lévi-Strauss // Revue philosophique de la France et de l'étranger. 2002. T. 127. № 4. P. 403–416.
- Volpi F. Contributi alla filosofia. Dall'evento // Idem. La selvaggia chiarezza. Scritti su Heidegger. Milano: Adelphi, 2011.
- Wulf A. The Invention of Nature: Alexander von Humboldt's New World. N.Y.: Knopf, 2015.
- Хайдеггер М. Размышления II–VI (Черные тетради 1931–1938) / Пер. с нем. А. Б. Григорьева; под науч. ред. М. Маяцкого. М.: Издательство Института Гайдара, 2016.

18. Volpi F. Op. cit. P. 267.

HEIDEGGER: CONSPIRACY AGAINST REALITY

DMITRIY KRALECHKIN. Philosopher, translator, independent scholar, Moscow, euroontology1@mail.ru.

Keywords: estrangement; Black Notebooks; Luc Boltanski; conspiracy theories.

The philosophical/textual reappraisals which have emerged in Heidegger studies after publication of the *Black Notebooks* are interpreted in this article as consistent with Heidegger's modernist project presupposing certain strategies of isolation, withdrawal, and estrangement. Those strategies had become steadily less useful in the approach to World War II. Heidegger had identified several modes of concealment (authentic vs. manipulative, or false, ones), but he succumbed himself to a conceptual position of estrangement and exclusion that did not necessarily provide the expected cognitive benefits. That position imposed an extremely narrow range of options for abandoning the uncompleted project of *Being and Time*, which was in question precisely because it was susceptible to both naturalizing and anthropologizing. In his so-called *Kehre* or turn, Heidegger did not reject the original project of conceptualizing Being as an instance of estranging every ontic entity; on the contrary, he tried to accomplish it in a very bold way by elaborating a narrative structure for Being's history that had no proper personages in previous versions.

The "conspiracy," regardless of how it may in fact be realized, is inevitable because it occupies an intermediary position between the "world" and "reality" (in Luc Boltanski's terms) or between the "ontic" and "ontology," the ontological distinction that lies at the centre of Heidegger's philosophy. The abstract conceptual personages of *Being and Time* are replaced by personages in a conspiracy, and this move allows him to retain "agency," and refrain from any anthropologizing and naturalizing (up to a point). However, Heidegger's openness to terminology from conspiracy theories carries with it a range of unexpected consequences, including regarding the positions of conspirators (Jews, Bolsheviks etc.) as equivalent to "Caesarism." The conspiracy against reality cannot be exempt from the production of that same reality whose personages in turn are setting the scene for self-annihilation.

DOI: 10.22394/0869-5377-2018-3-27-48

References

- Agamben G. *Autoritratto nello studio*, Milano, Nottetempo, 2017.
- Badiou A. *Le Siècle*, Paris, Seuil, 2004.
- Bernet R. Le secret selon Heidegger et "La lettre volée" de Poe. *Archives de Philosophie*, 2005, vol. 68, no. 3, pp. 379–400.
- Boltanski L. *Enigmes et complots. Une enquête à propos d'enquêtes*, Paris, Gallimard, 2012.
- Descartes. *Les philosophes. Accélérateur de lecture*. Available at: <http://les-philosophes.fr/auteur-descartes.html>.
- Ginzburg C. Rappresentare il nemico. Sulla preistoria francese dei Protocolli. *Il filo et le tracce*, Milano, Feltrinelli, 2015, pp. 185–204.
- Heidegger M. *Razmyshleniia II–VI (Chernye tetradi 1931–1938)* [Überlegungen II–VI (Schwarze Hefte 1931–1938)] (trans. A. B. Grigor'ev, ed. M. Maiatsky), Moscow, Gaidar Institute Press, 2016.
- Jameson F. *Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism*, London, Verso, 1991.

- Latour B. *Cogitamus. Six lettres sur les humanités scientifiques*, Paris, La Découverte, 2010.
- Latour B. *Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique*, Paris, La Découverte, 2015.
- Malabou C. Une différence d'écart. Heidegger et Lévi-Strauss. *Revue philosophique de la France et de l'étranger*, 2002, t. 127, no. 4, pp. 403–416.
- Volpi F. Contributi alla filosofia. Dall'evento. *La selvaggia chiarezza. Scritti su Heidegger*, Milano, Adelphi, 2011.
- Wulf A. *The Invention of Nature: Alexander von Humboldt's New World*, New York, Knopf, 2015.